

DOI 10.18522/2415-8852-2023-4-7-40

УДК 003.09

**ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ, ИЛИ РАСШИРЕНИЕ  
ПИСЬМЕННОГО «Я». К РАСШИФРОВКЕ РАЗГОВОРА  
С ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ШКУРАТОВЫМ**



**Галина Анатольевна Орлова**

кандидат психологических наук, доцент Школы исторических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

e-mail: [gaorlova@hse.ru](mailto:gaorlova@hse.ru)

ORCID: 0000-0001-6942-634X

**Аннотация.** Статья задумана в качестве эпистемологического паратекста к транскрипту архивного интервью, которое было записано летом 2009 г. на пилотной стадии исследования, посвященного истории молчания в СССР. Личную историю молчания с позиции позднесоветского интеллигента, дистанцирующегося от официальной жизни и речи, рассказывает архитектор исторической психологии и создатель ее олитературенной версии, ростовский профессор Владимир Александрович Шкуратов (1947–2022). Полнотекстовую расшифровку разговора интервьюер и автор предисловия публикует в память о своем учителе, обеспечивая с помощью предисловия послойную настройку чтения транскрипта интервью.

В тексте разъясняется специфика комплексного жанра интервью, ставится вопрос о его этнографическом насыщении и связи с академическими практиками существования В.А. Шкуратова. Производится краткий экскурс в его интеллектуальное наследие, а в дизайне ростовской исторической психологии обнаруживается французский след. Статус интервью и его расшифровки определяется относительно исторической психологии в редакциях В.А. Шкуратова и Й. Мейерсона. Особое внимание уделяется взглядам В.А. Шкуратова на роль письменной культуры, данной через литературу, в изобретении современного человека и поддержании его психологической целостности. Рассматривается понимание письменной личности, предложенное В.А. Шкуратовым, и случай подпольного человека в его связи с письмом. Описывается принадлежность устной речи профессора порядку письменного высказывания. А ее перевод на письмо, рассмотренный как усиление присутствия и расширение письменного «я», помещается в контекст письменной культуры и письменной личности, над концептуализацией которых В.А. Шкуратов работал.

**Ключевые слова:** олитературенная историческая психология, наррадика, письменная личность, подпольный человек, присутствие, история молчания, личная история молчания, транскрибирование, глубинное интервью, память, благодарность

Это интервью записано на подготовительной стадии исследования, посвященного истории молчания в СССР. Социологи, антропологи, психологи, работающие с расшифровками таких бесед, разбирают их на анонимизированные цитаты [Corden & Sainsbury], но полнотекстовых транскриптов, как правило, не публикуют. Летом 2009 г. мы обсуждали, как обезличить реплики, которые потом можно будет приписать не то «гражданину S примерно 60 лет», не то абстрактному «профессору». А в январе 2022 г. профессора Шкуратова не стало. Потеря изменяет качество записи, превращая архивную беседу в реликвию<sup>1</sup>. В память о выдающемся ученом, блестящем университетском профессоре, ярком интеллектуале, архитекторе исторической психологии и замечательном человеке Владимире Александровиче Шкуратове я раскрываю личность своего собеседника и публикую с незначительными техническими купюрами, подробными комментариями и обстоятельным предисловием расшифровку той беседы, рассматривая ее как место знания, памяти и присутствия моего учителя.

### Полуторный жанр

Приглашение рассказать в свободной форме личную историю молчания в СССР,

прозвучавшее за столиком ростовского кафе, перевело наш разговор с профессором Шкуратовым в русло мультижанрового интервью – глубинного, биографического, лейтмотивного. Однако у начинающего исследователя позднего социализма и неопытного интервьюера не было уверенности в переводе. Потому я и обратилась к шефу, как называла своего научного руководителя, с просьбой о помощи в тестировании формата. Мне хотелось убедиться в принципиальной возможности обстоятельного обсуждения с тем, кто вырос и повзрослел в послевоенном СССР, личной истории несказанного. Поддержав затею, Владимир Александрович стал проблемным информантом в этом проекте.

Четверть века назад социологи П. Аткинсон и Д. Сильверман опубликовали программную статью об *обществе интервью*. Выражая скепсис в отношении всеобщего увлечения интервьюированием, авторы предостерегали коллег от постмодернистской переоценки исповедального и эпистемологического потенциала метода, обещающего сиюминутное, искусственно смоделированное и, по сути, случайное самораскрытие [Atkinson, Silverman]. Наше интервью отличается от серийного продукта этого общества не только масштабом лично-

---

<sup>1</sup> Об экзистенциальном, эпистемологическом, этическом выборе, перед которым оказывается исследователь, узнав о смерти своего информанта, писала З. Васильева [Kasatkina, Vasilyeva & Khandozhko].

сти собеседника, его профессиональной готовностью занимать метапозицию или талантом рассказчика, но и темпоральной многослойностью беседы. Разговор, в записи длящийся два с половиной часа, вплетался в ткань ученых и книжных разговоров, растянувшихся на десятилетия, и все же остался особенным. Ведь впервые мы беседовали под запись, заранее оговаривали фокусировку на биографии и действовали по протоколу интервью.

Соглашаясь, Владимир Александрович не только поддержал ученицу, но и ответил на вызов, исходящий от порядка дискурса – говорил о несказанном и концептуализировал то, что ускользает от концептуализации. Побочным продуктом этого эксперимента стало самое насыщенное, развернутое и неформальное (авто)биографическое высказывание о жизни профессора Шкуратова, из всех, известных мне в записи. На тематической сетке лейтмотива проступают контуры жизненного пути и рисунок эпохи, появляются биографические ассистенты, формулируется кредо и актуализируется литератур-

ная матрица идентификации, приводимая в действие советским интеллигентом.

Конгломерат биографических виньеток, описаний, вставных новелл, отступлений, аргументов и исторических анекдотов, которым оборачивается биографическое интервью, лишен хронологической внятности формулярного списка, поступательности делопроизводственной автобиографии или дотошности отчета ППС<sup>1</sup>. Через прорехи в повествовательной ткани, характерные для живой беседы и ослабляющие биографическую иллюзию<sup>2</sup>, проглядывает индивидуальная манера речи и знакомые интонации. Вопросы интервьюера задают ход беседы, но в избирательности ответов и нелинейности повествования, повторах, эллипсах, примерах реализуется выбор собеседника, создающего ситуативную версию своего рассказанного мира<sup>3</sup>. Границы этого мира Владимир Александрович сознательно раздвигает, фокусируясь на опыте молчания. Сохраняя нарративную экологию, я буду следовать за автобиографическим рассказом шефа, воз-

---

<sup>1</sup> Б. Дубин фиксирует семейное родство биографии, репутации и анкеты, описывая последовательное изложение ключевых вех жизненного пути, выполненное в соответствии с образцами, в качестве «регулятивной модели индивидуального свершения» [Дубин: 101]. А Ю. Зарецкий видит в автобиографии, составляемой для отдела кадров, конвейер социально приемлемых идентификаций [Зарецкий].

<sup>2</sup> О биографической иллюзии в критическом ключе пишет П. Бурдьё, подчеркивая, что в результате нарративной нормализации жизненный путь человека обретает фиктивную целостность и направленность [Bourdieu].

<sup>3</sup> Taleworld, в терминологии К. Юнг [Young].

держиваясь от изложения официальной биографии профессора Шкуратова и ограничиваясь комментариями к ней на полях транскрипта.

Как показал опыт открытия качественных данных [Касаткина 2016], транскрипты глубинных интервью, доступа к которым так ждало научное сообщество, часто остаются малоинформативными для тех, кто не участвовал в беседе или ее расшифровке [Heaton]. Глубинные техники, используемые для приближения к субъективным мирам и ситуативным порядкам производства значения [Minichiello et al.], в отрыве от собеседника и живого общения не срабатывают. Восполняя дефицит качественных метаданных, к расшифровкам добавляют заметки и контекстуальные комментарии [Corti, Backhouse]. Их роль критически возрастает в ситуации публикации многослойного транскрипта, где академическая беседа соседствует с (авто)биографическим свидетельством и производством присутствия профессора Шкуратова.

### **Экологии одного разговора**

Бывает, что в ткань интервью, записанного без отрыва от практик существования,

вплетаются не только история с биографией, но и этнография<sup>1</sup>. В этом случае метод, утрачивая чистоту, обретает насыщенность. Сказанное справедливо и для интервью, взятого без отрыва от неформального академического общения. В тот день за столиком кафе нас было трое: Владимир Александрович, магистрант Роман и я. Разговор с учениками о жизни, которым время от времени оборачивалось пилотное интервью, нес в себе заряд шкуратовской дискурсивной педагогики.

Шеф всегда обучал – настраивал нашу аналитическую оптику, расширял интерпретативные рамки, подавал пример диалога с авторитетами, демонстрировал красоту нестандартных решений, прививал вкус к трансдисциплинарным переходам, давал почувствовать, что занятие наукой несет и радость, и освобождение, – разговаривая. В 1993 г. меня, третьекурсницу, раз и навсегда восхитила его манера научного руководства – перипатетически выводить студента или аспиранта в город; использовать фланирование и кафе, которых вдруг стало много, для непринужденного просвещения; делиться тем, что самому интересно; думать вслух и поощрять к диалогу. Когда я много позже взялась обучать психологов

---

<sup>1</sup> О том, как антропологические интервью с соседями-дачникам, изменяя качество, оборачиваются дачными разговорами, см.: [Касаткина 2019].

качественным методам, шеф недоумевал: зачем учить тому, что сковывает? Его методом был разговор. Сохранились записи докладов, лекций и семинаров, расшифровки стенограмм выступлений на (пред)защитах и интервью ростовским журналистам<sup>1</sup>. Однако разговоры, в которые Владимир Александрович вовлекался с особым вдохновением и самоотдачей, не записывали. Этот – исключение.

Социальные исследователи науки и технологий отмечают вклад коммуникации – переписки, рецензирования, семинаров<sup>2</sup> – в создание научных фактов, эпистемических режимов и сообществ [Kendrick; Latour & Woolgar; Goodwin]. Но неформальные ученые разговоры редко фиксируются и еще реже становятся предметом для изучения. В интервью профессора Шкуратова виднеется не только силуэт кафедры, но и след рабочего верстака. Рассматривая советское молчание в его специфичности и пытаюсь ухватить выпадение позднесоветского интеллигента из речи, Владимир Александрович

производил «исследующе-устанавливающую обработку действительности» [Хайдеггер: 244], нацеленную на превращение аморфной материи в предмет для исторического психолога, антрополога, социолога. Публикация транскрипта делает эту невидимую работу видимой.

Контекстуальная насыщенность интервью возвращает к русским разговорам, инициированным Н. Рис. Антрополог, работавшая в Москве на излете перестройки, рассматривает спонтанное речевое общение как механизм, посредством которого в России «формируются и поддерживаются во времени идеологические и культурные установки» [Рис: 23]. Главным речевым жанром, позволяющим нашему человеку справляться с энтропией и кризисами, она считает жалобу. Я помню Владимира Александровича ироничным, рефлексивным и далеким от lamentаций. Да и модель русского разговора долго оставалась дискуссионной<sup>3</sup>. И все же основание для соположения концепции Рис с интервью профессора у меня есть.

---

<sup>1</sup> Журналисты навещали профессора в кабинетике на психфаке, расспрашивая его о перспективах общения с питекантропом, семиотике бороды и рисках жизни в постсовременности.

<sup>2</sup> Упомяну здесь историю психологии в письмах [Benjamin] и засекреченные ядерные семинары у Оппенгеймера [Westwick].

<sup>3</sup> Так, участники круглого стола, организованного «Этнографическим обозрением» (2006, № 6) по случаю перевода «Русских разговоров», критически высказывались об укреплении русского мифа, экзотизации, эссенциализме, выпадении из истории, нечеткости понимания разговора.

Во-первых, в те годы Елена Витальевна Николаенко, одна из первых аспиранток шефа, защищала диссертацию о жалобе, разбирая ее терапевтическую роль в русской культуре [Николаенко]. Во-вторых, научное сообщество, сложившееся вокруг него, жило разговорами, а вовсе не чтением, письмом или докладами с презентациями, без которых сегодня даже неформальные семинары трудно вообразить. В-третьих, расшифровывая запись, я заметила, что история позднесоветского интеллигента, пунктирно намеченная в интервью, имеет вид регрессивного нарратива, разворачивающегося между полюсами трагедии и иронии<sup>1</sup>. Впрочем, она не выглядит жалобой, скорее – социокультурным приговором или психокультурным диагнозом, поставленным идеальному типу. Ведь для настоящей жалобы и подлинного молчания, как заметил Владимир Александрович, нужен собеседник, которого у позднесоветского интеллигента из провинции, выведенного в качестве лирического героя интервью, могло и не быть.

### **Между Психеей, Клио и наррадигмой**

В ходе интервью профессор Шкуратов вспоминает о перипетиях чтения социальной психологии в 1970-е гг., но оставляет за кадром однокоренные курсы, ставшие визитной карточкой ростовского психфака на рубеже веков. Базовую историю психологии Владимир Александрович читал потоку четверокурсников с академическим блеском, энциклопедическим размахом и продуманным консерватизмом. Кун и Фуко на историографической сцене курса появлялись, а Роуз и Данziger – уже нет.

Историческая психология в 1990-е гг. была новаторским спецкурсом для изучающих социальную психологию личности. Владимир Александрович чередовал ее с гуманистической психологией – семинаром, еще более эзотеричным. Психологическую характеристику эпох он дополнял культурной историей психических процессов, переходя к психологическому объяснению<sup>2</sup> своего материала после культурологической реконструкции. В первое постсоветское десятилетие культуроло-

---

<sup>1</sup> Разделение прогрессивного, регрессивного и нейтрального нарративов, предложенное социальными конструкционистами [Gergen & Gergen 1986], нарративные психологи соотнесли с жанрами и описали трагедию с иронией как основу для регрессивных «я»-нарративов, участвующих в конструировании коллективной и персональной идентичностей [Murray].

<sup>2</sup> Судя по ранним детализациям этих объяснений, исторические психологи задумывались о пользе своей науки для общества – обещали определять границы психологической пластичности, закономерности появления новых психических качеств и направления развития человеческого сознания [Белявский, Шкуратов].

логия обещала исследователю максимальную свободу действий и была передним краем гуманитаристики. Обогащенная историческая психология становилась местом междисциплинарности, гуманитарного ликбеза, расширения круга чтения и раскрепощения психологического воображения.

Историю психологии мы изучали по базовым *Ярошевскому* и *Ждан*, а проводником в историческую психологию был наш *Шкуратов*. В 1994 г., победив в конкурсе на новый учебник для новой страны, выходит первая в мире – сизая – «Историческая психология» [Шкуратов 1994]. Выбор издательства отвечал духу времени: у ростовской деловой газеты «Город N», в те годы процветавшей, была издательская программа. В 1997 г. в психологическом издательстве «Смысл» появляется второе, зеленое, издание [Шкуратов 1997]. А первый том третьего издания увидел свет в столичном «Кредо» в 2015 г. [Шкуратов 2015]. От издания к изданию объем рос, а размышления автора об устройстве и назначении исторической психологии, набранные мелким кеглем, становились параграфами и разделами. Диковинные словечки превращались в понятия, понятия – в модели, зонтичные семейства, сети, сплетающиеся в концептуальную вселенную исторической психологии, где эволюционный интервал человеческой истории называется сапиентным диапазоном; для характеристики культурного цикла семиотического производства изо-

бретена наррадиigma; а для упорядочивания суммы технологий опосредования, участвующих в производстве психики, спроектирована антропоморфная матрица культуры [Шкуратов 2009].

Одним из персонажей «Исторической психологии» был принстонский психоисторик и теоретик сознания Джулиан Джейнис – автор оригинальной гипотезы рождения западного сознания из бикамерного ума, согласно которой до того, как письменность и психологические понятия поспособствовали возникновению внутреннего мира с присутствующими ему механизмами саморегуляции, децентрированная и овнешненная психика гомеровского человека управлялась командами правого полушария, переживаемыми как (галлюцинаторные) голоса богов [Шкуратов 1997: 229–230; Jaynes]. Но что, если сходным образом помыслить становление исторической психологии, четверть века идущее в диалоге с «богами» гуманитаристики на страницах необычного вузовского учебника, написанного в Ростове? На фоне масштабных картин чтения, создаваемых профессором Шкуратовым, вырабатывается концептуальный аппарат, обеспечивающий новую связность истории и психологии. Перемещаясь от первого издания к третьему, видишь, как картограф исторической психологии становится ее архитектором.

Впрочем, здесь уместнее использовать модель, разработанную Владимиром Алексан-



дровичем для социокультурного цикла легитимации текстов, дискурсов, репутаций. Наррадигма фиксирует движение культурного производства от неоформленного, но полного потенций апокрифа через ценностно подтвержденный канон и гуманистический диалог с ним к переводу гуманитарных интуиций в формулы человекознания [Шкуратов 1994; Шкуратов 2006]<sup>1</sup>. Отход от представлений о монолитной темпоральности [Bear], позволяет думать о разнообразии наррадигмальных статусов шкуратовской исторической психологии. Так, в отношении академической психологии, со времен «Психологии народов» Вундта неоднократно отвергавшей гуманитарную линию развития, фокусировка на существовании человека в большом времени истории выглядит попыткой наверстать упущенное – т. е. тяготеет к апокрифу. В отношении канона гуманитаристики, сложившегося во второй половине XX в., с которым Владимир Александрович ведет диалог, построенное исторической психологии – это расщепление, произошедшее на гуманистической

стадии<sup>2</sup>. А внутри нового предметного поля, к созданию которого профессор Шкуратов шел последнее десятилетие, делается рывок от эскизов к концептуальной архитектуре исторической метапсихологии, т. е. от ранних стадий цикла к его завершению, минуя канон и гуманистический диалог с авторитетом. Из этих элементов, принадлежащих разным мирам, можно сложить полный, но воображаемый цикл.

Ценность апокрифической фазы для гуманитаристики Владимир Александрович видит в расширении границ нормативности, обновлении и обогащении смыслов, добавлении сюжетного зачина [Шкуратов 1997: 170]. Апокрифические моменты научных биографий он обнаруживал в перипетиях научного поиска и сценах личной жизни. В нашей беседе нет ни того, ни другого. А апокриф есть. Сумма автобиографических рассказов и рефлексий, не предназначенных для публикации и публикуемых в расшифровке без ретуши, апокрифична по определению, умножает смыслы и сокращает дистанцию до профессора.

---

<sup>1</sup> В кругу В.А. Шкуратова изучали пушкинскую и чеховскую наррадигмы, циклы формирования нартского эпоса, евангельского эклектизма, автобиографии и канцелярии (в дореволюционной России), художественного книгоиздания и интеллектуальной нормы (в СССР).

<sup>2</sup> Я говорю о расщеплении, поскольку канон и диалог с ним локализованы по разные стороны дисциплинарных границ. Гуманитариев не интересует использование психологами их канона, а психологи не настроены на диалог с чужими авторитетами, язык которых остается для них нелегитимным. Миры связывал профессор Шкуратов.

### Линия Мейерсона

Профессор Шкуратов считал эпистемологически полезным сокращение зазора между историей психологии и исторической психологией. Своей убежденностью в прямой связи актуальных пси-знаний с психологическими репертуарами эпохи он походил на К. Дэнзингера, требующего ревизии истории психологии, и К. Гергена, полвека назад провозгласившего социальную психологию исторической дисциплиной [Gergen; Gergen & Gergen 2014; Danziger 1994; Danziger 1997]. В этом ключе он реферировал «Анатомию меланхолии» Р. Бёртона, подчеркивая роль ренессансного трактата не только в изучении и контроле душевных состояний, но и в их конституировании [Бертон].

В философских сочинениях, литературных опусах и медицинских руководствах Владимир Александрович по-фукольдиански видит порождающие дискурсивные системы, участвующие в производстве психологических онтологий, но в отличие от Фуко интересуется не столько политическими эффектами сращивания знания и власти, сколько переплетениями знания и литературы вкупе с их психокультурными последствиями. Истоки характерологии меланхоликов у Бёртона или романтического расщепления «я» он находит в литературе, а дисциплинарные концепции Фуко и Чехова считает сопоставимыми [Шкуратов 2011; Шкуратов 2013; Шкуратов 2017]. Истоки этого смещения

стоит искать не только в русском литературоцентризме, но и в том влиянии, что создатель французской исторической психологии оказал на исторического психолога из СССР.

В 1981 г. В.А. Шкуратов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную французской школе исторической психологии Иньяса Мейерсона (1888–1983). Герой его исследования был еще жив, но идеи, сформулированные им в середине XX в., сдали в архив психологической мысли и забыли. Глобальное переоткрытие этого наследия началось с формированием постнеклассической парадигмы и появлением у психологов запроса на гуманитарную методологию [Parot 1996; Parot 2000]. Впрочем, и в 2005 г. Дж. Брунер, развернувший психологию к нарративу, констатировал, что Мейерсон остается одним из наиболее «тщательно оберегаемых национальных секретов» и мало кому известен «вне французского контекста» [Bruner 2005: 419]. Тогда как аспирант-психолог из Ростова обратился к этому неочевидному сюжету в конце 1970-х гг.

Исследователи творчества Мейерсона объясняют его маргинализацию переориентацией социальной психологии в послевоенной Франции на американский формат и укреплением альянса историков ментальности с антропологами [Plesh; Pizzaroso]. В итоге человек, связавший XIX век с XX, Восточную Европу с Западной, а феноменологию – с клинической психологией и экспериментом,

оставивший родную Варшаву и участвовавший во французском Сопротивлении, состоявший секретарем Французского психологического общества и редактором влиятельного журнала, работавший с Пьером Жане, Марселем Моссом и Жаном Пиаже, прожил долгую и насыщенную жизнь, вторая половина которой прошла в забвении. Его неудачей стало представление теоретической диссертации «Психологические функции и труды», на двухстах страницах которой была эскизно изложена авторская программа исторической психологии [Meyerson 1995 (1948)]. Ее не приняли психологи, оставили без внимания историки,<sup>1</sup> и изучил В.А. Шкуратов.

Следуя неписаным правилам позднего застоя, аспирант использовал идеологическую критику как риторику, чтобы иметь возможность содержательно обсуждать положения буржуазной исторической психологии. Я схематично обозначу те из них, что воспринял или развил мой учитель. Во-первых, оба автора относят себя к психологическому крылу исторической психологии [Шкуратов 1981] и являются сторонниками радикальной историзации психики, проявляющейся и изменяющейся «в единстве с порождаемыми ею

культурными продуктами» [Шкуратов 1997: 128]. Это отличает их от историков ментальности [Pizarosso: 13]. Во-вторых, оба изучают психику за пределами индивида, обнаруживая в культурных трудах и творениях не поверхностные репрезентации или ментальные проекции, но оформление психической потенции. Мейерсон говорит об объективизации [Meyerson 1995: 30–32], Шкуратов – о психике как сумме опосредований, которую должен изучать психолог [Шкуратов: 344]. Психологи думают иначе. В-третьих, оба убеждены в необходимости изучать человека в его естественной среде – во времени истории и пространстве культуры. В-четвертых, они призывают фиксировать культурное многообразие пси-пластичности. Мейерсона интересуют институты (миф, религия, наука, право и т. д.), Шкуратова – технологии. Наконец, оба имеют вкус к теоретизированию и репутацию герметичных авторов. Полагаю, этого достаточно для того, чтобы при составлении карты шкуратовской исторической психологии вычерчивать линию Мейерсона.

В свете внимания, которым исторический психолог окружает технологии опосредования, обеспечивающие «психическую и пер-

---

<sup>1</sup> Впрочем, отсутствие признания не было блокадой. В 1950 г. Люсьен Февр пригласил Мейерсона в Высшую школу практических исследований (EPHE). А с 1975 г., приближаясь к девяностолетию, он вел в Высшей школе социальных наук (EHESS) семинары по истории памяти, восприятия, эмоций. За эту науку ему были признательны Роже Шартье и Жак Ревель [Parot 2000: 116].

сональную организацию вне живого индивида (разумеется, не загробного мира, а человеческого бытия, «законсервированного» в историческом материале)» [Шкуратов 1997: 350–352], аудиофайл в расширении mp3 с интервью пятнадцатилетней давности следует рассматривать как одну из таких «консерв бытия». А психокультурный статус расшифровки требует отдельного осмысления.

### **Сначала была запись**

Как правило, запись интервью вместе с искусством ее расшифровки обсуждают исследователи-качественники. И это неслучайно. К. Лангейер напрямую связала возникновение области качественных исследований с распространением звукозаписывающей техники [Langeiller: 699]. И хотя транскрибирование не стало обязательной процедурой, сообщество сошлось на том, что оно обеспечивает эпистемологическое разрешение, необходимое для качественной аналитики [Psathas, Anderson]. Исследователи считают расшифровку важной интерпретативной процедурной [Kvale], но озабочены масштабом деформаций, сопутствующих трансмедийному *переписыванию* [Lapadat, Lindsay]. Их волнует и грамматическое насилие, которое несет нормативность письма [West], и искусственная стабилизация устной речи [Denzin], и отчуждение от речи, возникающее с ростом детализации [Ochs]. Все говорит о том, что транскрибирование – это

лабораторное *устройство записи*, обеспечивающее препарирование устной речи и ее превращение в письменный след, доступный изучению [Latour].

Транскрибируя, я разделила интервью на реплики. Следовала за ритмическим рисунком речи, графически оформляя синтаксис. Опустила вокализации, наложения, паузы, обрыв фраз, мену темпа, чтобы избежать лишних объективаций там, где экстра- и паралингвистические факторы, как кажется, не играют ключевой роли в производстве значения. Вырезала преамбулу и разговор с официанткой. На пробелы, сопутствующие устной речи, для повышения связности поставила дискурсивные заплатки, поместив их [в квадратные скобки]. С учетом характера публикации, мемориальной и аналитической разом, выбрала максимально конвенциональный стиль записи транскрипта.

В сравнении с транскриптами, когда-либо находившимися у меня в работе, речь Владимира Александровича легко поддавалась расшифровке и без усилия-насилия ложилась на письмо. Конечно, я вслушивалась в знакомые интонации, но долгая история разговоров не объясняет всего. Начиная рассказывать или рассуждать, мой собеседник переключался в режим лекции под запись, отточенный на поколениях студентов, еще ведущих конспекты. Здесь востребованы ясность артикуляции, контроль темпа, ритмически выстроенные синтагмы и выводы-афоризмы. В недрах

этой хорошо организованной устности дремлет письменная фиксация, с которой синхронизируется профессор. С профессорским паттерном сосуществует другой способ говорить – развернуто и многоступенчато, без потери мысли; заботясь о драматургии воспоминаний и затейливой лепке зарисовок. Здесь тоже присутствует письменный план, но уже не как конечный результат, а как культурный образец. И если так, то перевод речи Владимира Александровича в графическую запись без значительных потерь и деформаций объясняется просто: его высказывания уже принадлежат порядку письма.

В «Происхождении письма» Р. Харрис размышляет о «скриптурном» уклоне, порожденном западной системой образования и культурными иерархиями. Уклон проступает в идеализации письма, выступающего квинтэссенцией языка и подчиняющего ораторское искусство литературному стандарту [Harris: 46]. По сути, Харрис развивает тезис, сформулированный полвека назад учеником Маклюэна, специализировавшимся на изучении отношений устности и письменности. У. Онг выводит систематическое наблюдение и рефлексию из дискурсивной автономии

письма, полагая, что выбор между технологиями определяет каркас психической организации [Ong 2013]. Впрочем, ему интересны не только дихотомии, но и технологические спутанности устного и письменного. В частности – *вторичная устность* чатов и интернет-форумов, где запись соседствует с экспрессивностью устной речи и ослаблением орфографии [Ong 1999]. Онг пишет о письменной инфильтрации психики современного, или «алфавитного», в терминологию Маклюэна, человека<sup>1</sup>: «То, что мы обычно не чувствуем влияния письма на мышление, показывает, что мы интериоризировали письменную технологию столь глубоко, что без невероятных усилий не можем отделить себя от нее или хотя бы осознать ее влиятельное присутствие» [Ong 1986: 24].

Об осознании, приходящем с закатом эпохи письма, Владимир Александрович размышляет во введении к «Искусству экономной смерти» [Шкуратов 2006]. Французскую аналитику ментальностей и североамериканскую теорию медиа он комбинирует для того, чтобы зафиксировать политические и психокультурные последствия экспансии визуальных технологий в письменные миры совре-

---

<sup>1</sup> За восемь лет до «Галактики Гутенберга», посвященной роли типографского станка в преобразении Запада, Маклюэн трактовал «Поминки по Финнегану» Джойса как медиа-роман, где технологии коммуникации выступают формой и двигателем культуры, а *ABCED-mindedness* – алфавитность – является психокультурной детерминантой, подпитываемой «каббалистической значимостью буквы и пси-эффектом грамотности» [McLuhan: 41].

менности. Если профессор использует глобальный трансмедийный переход для ревизии культурного бессознательного современности, сформированного письменностью, то я обнаруживаю структурный эффект письма при расшифровке одного интервью.

### **Олитературивая психологию**

Называя ментальностью культурную массу опосредований психики вместе с психически опосредованной культурой, Шкуратов использует письмо для рубрикации психокультурных формаций – дописьменной, письменной и постписьменной ментальностей. Как теоретик он признает разнообразие технологий опосредования, но предпочитает работать с письменными мирами современности. В его изучении он видит миссию исторического психолога, получающего доступ к человеку прошлого только тогда, когда тот оставляет многочисленные и хорошо сохранные письменные следы. Это происходит с ростом числа грамотных, формированием системы начального образования, рутинизацией периодической печати, укреплением бюрократии, рождением современной литературы и оформлением идеологии просвещения. Для исследователя, полагающего, что «человек выражает себя не только в слове, однако именно словесное, притом письменное воплощение, дает человеку эталон творчества» [Шкуратов 1997: 389], письмо остается самой человекомерной технологией.

Себя Владимир Александрович называет первым психологом, по достоинству оценившим психологический потенциал и масштаб письма. Введенное им понятие *письменной ментальности* на разных этапах создания авторской исторической психологии трактовалось по-разному в зависимости от того, какой из аспектов – технологии, повествовательные инстанции, институты письма или темпоральность – выдвигался на первый план. В одних случаях это была «медиация знаково-графической передачи, транслируемая институтами типографской цивилизации вместе с ее авторами, персонажами, читателями в средне-быстром времени» [Шкуратов 2006]. В других – «вся текстуальная масса цивилизации вместе со специфической общения человека и текста» [Шкуратов 1994]. Амбициозная программа изучения письменной ментальности, сформулированная в 1990-е гг., включала анализ письменного канона и динамики легитимации текстов, социальных институтов письма и политик просвещения, отношения к письменным технологиям в обществе и графических идеологией, письменных навыков и траекторий скриптосоциализации [Бермант: 9].

Там, где марксисты обнаруживают политэкономия, психоаналитики – желание, фукольдьянцы – власть, а последователи Маклюэна – тень Гутенберга, Владимир Александрович видит работу письма. Будучи скриптодетерминистом, он превращает

письменные технологии в линзу для анализа социальных, политических, антропологических, культурных новообразований современности. В Реформации он видит подчинение магмы душевной жизни графическим дисциплинам типографии, а в оранжевых революциях – столкновение письменности с постписьменностью [Шкуратов 2006]. Русскую интеллигенцию описывает как скриптосообщество, конкурирующее с бюрократией за гегемонию в высокописьменных мирах [Шкуратов 2005]. А генеалогию личности возводит к графической записи и воплощению в письменном слове [Шкуратов 1997].

В отличие от Мейерсона, практикующего рефлексивную рассеянность, шеф предпочитает зуммирование и фокусировку. В семействе технологий опосредования он выделяет культуру слова, среди словесных режимов – письменность, в ряду практик и институтов письма – литературу. Считая ее кульминацией культуры слова и *экзистенциальной письменностью*, он признает за художественным словом особые права на реальность. В том числе – право наделять «письменные образования качествами наглядно воспринимаемых и эмоционально значимых существ» [Там же: 389].

Литературный строй души, возникающий в ходе «переработки дописьменной чувственности в олитературенную», а «непосредственной идентификации – в читательское сопереживание», в целом скроен по той

же мерке, что письменный строй психики у Онга или типографское сознание у Маклюэна. Но акцент делается на эстетику художественного текста и социологию литературного творчества, роль которых в упаковке психических и персональных содержаний письменной культуры признается решающей. Литературные персонажи рассматриваются как образцы идентификации; признается особый вклад литераторов в создание психокультурной ткани модерности и роль образования в олитературивании опыта современного человека.

Здесь Владимир Александрович ближе, чем можно думать, к Дж. Брунеру и Т. Сарбину – нарративным психологам, которые, воодушевившись Бахтиным и Рикером, отслеживали вклад повествования в конструирование идентичности, памяти, истории жизни за пределами художественного текста [Bruner 1987; Sarbin]. Как и Брунер в «Эссе для левой руки» [Bruner 1979], он отстаивает эпистемологические права нарратива и даже придумывает *бельсайентистику* – фазу в жизненном цикле науки и мышления, когда знание производится посредством художественных форм [Шкуратов 2015: 232].

У социальных исследователей не сложилось традиции открытия транскриптов своих интервью, тем более – их публикации в виде самостоятельных текстов и полноценных результатов исследования. Тогда как драматургия и литература.док в пословной

расшифровке распознали эстетическую и политическую форму, изменившую понимание документальности, опыта, аутентичности и голоса. Откликаясь на это переизобретение вербатима, антропологи расширяют горизонты этнографической репрезентации устной речи на письме и, прежде всего, ее аффективного насыщения [Long]. Готовя к публикации транскрипт беседы с исследователем, ратовавшим за эпистемологический плюрализм и признававшим олитературивание гуманитарного знания возможным, я использую верbatim в надежде на расширение дискурсивной поверхности контакта.

#### **Подполье письменной личности**

Конкретизируя свое понимание истории человека, Владимир Александрович говорит о ее столпах – психике и личности [Шкуратов 1997: 15]. Личность, в этой паре отвечающую за интеграцию, стабилизацию и обеспечение смыслового единства, он рассматривает как производную от формируемого в большом времени механизма индивидуализации [Шкуратов 2016: 152]. Исторического психолога здесь интересуют не столько дискур-

сивные сдвиги в описании индивидуального начала, сколько культурные технологии и практики, задающие и раздвигающие диапазон персонализации<sup>1</sup>.

Источником автономизации, целостности, ценности и контроля, ассоциируемых с личностью, Владимир Александрович считает графическую запись. И не он один [Ong 2013: 81,175]. Впрочем, профессор Шкуратов делает следующий шаг, когда ставит вопрос об «антропокультурной развертке человеческой целокупности», реализованной на письме и укорененной в письменной культуре, в терминах *письменной личности* [Шкуратов 2016: 147]. И если эпистемолог Р. Харре убежден, что эмпирически не наблюдаемая личность принадлежит психологическому дискурсу и производится им же [Harré 1987: 72], то шеф выводит письменную личность из «романной психологии», полагая, что именно литература дает человеку пространство непрерывного существования и обещает спасение [Шкуратов 1997, 2016].

Письменная личность, выступающая оператором олитературивающей текстуализации «я» и персонализации суммы записей,

---

<sup>1</sup> Скажем, в истории психологии личности И. Николсона зафиксирован сдвиг от «языка характера» к «языку личности», произошедший в США на рубеже XIX–XX вв. под напором индустриализации [Nicholson: 20]. Тогда как в исторической психологии множественного «я» Шкуратов характеризует расцвет двойничества в Европе рубежа XVIII–XIX вв. через вклад месмеризма и литературы о двойниках в культурную механику и политику расщепления [Шкуратов 2017].



ассоциированных с индивидом, находится в родстве с языковой личностью, повествовательной идентичностью, «я»-нарративом, делопроизводственным и архивным «я», но не тождественна им. Скажем, традиция концептуализации *языковой личности* восходит к работам В.В. Виноградова начала 1930-х гг. и советской лингвистике, сфокусированной на реализации «социально-языковых форм и норм коллектива» в речи его члена [Виноградов: 61]; способности к речевому поступку [Богин: 3] и сумме текстовых воплощений носителя языка [Караулов: 38]. Тогда как Владимира Александровича интересует не столько жизнь человека в языке, сколько специфический пласт этого существования – высокописьменный, нарративный, рассматриваемый без отрыва от культурных технологий письменного опосредования (дневников, записок, альбомов, журналов, предисловий, черновиков, сочинений) и исторического контекста.

Определяя *повествовательную идентичность* в литературоведческом ключе как идентичность, к которой мы приходим через повествовательную деятельность, П. Рикер обнаруживает в литературе тренажер персонализации и самости, отлаживаемый через завязывание интриги, функцию персонажа, его психологическое оснащение, рефигурацию и интенсификацию «я» читателя в акте чтения [Рикер]. Для Шкуратова же важны не сами по себе поэтические механизмы

персонализации, но практика и эффекты их использования в обстоятельствах, размеченных рукой исторического психолога.

Термин «я»-нарратив психологи-постмодернисты с начала 1980-х гг. используют для комплексной характеристики рассказа о жизни, выстраиваемого из взаимосвязанных и лично значимых событий, и идентичности, актуализированной по ходу этого рассказа [Gergen & Gergen 1988: 19]. Социальные конструкционисты и нарративные психологи выходят за пределы литературы, анализируя психоэтику терапевтических рассказов и речевых рутин. Профессор Шкуратов поддерживает эту трансгрессию, но сам работает с письменными личностями литераторов и ядром олитературенной психологии, ими создаваемым. Он проблематизирует культурный статус письменных занятий и качество оформления записи, принимает во внимание состояние инфраструктур и политик письма, тем самым реализуя на практике декларации постмодернистской психологии о контекстуальном насыщении психологического исследования.

Двигаясь в том же направлении, Р. Харре адаптирует идеи этнометодологии и прагматической философии языка для социальной психологии, когда рассматривает институционально специфичные режимы персонализации. Так, он трактует личное дело как результат встречи индивида с бюрократическими институтами и субстрат *делопро-*

изводственного «я» (*file-self*), возникающий в канцелярских практиках и документальных формах [Harré 1979: 69–70]. Владимиру Александровичу интересны скриптополитики бюрократии и ее бумажные персоноиды (включая фантомного поручика Кижже), но фокусируется он на другом институте письма – на литературе.

*Архивное «я»*, неразрывно связанное с письменной цивилизацией, обнаруживает себя не столько в актах документирования или записи, сколько в сохранении и упорядочивании бумажных следов, их систематизации и сортировке, практиках отбора и уничтожения документов, самоархивации, цензурировании и курировании [Мишенев: 105]. Владимир Александрович ставит вопрос о значении культурных циклов письма (включая возвращение забытых рукописей) для конституирования письменной личности. Однако он оставляет без внимания потенциал персонализации, имеющийся у структур хранения, и их вклад в упорядочивание жизненного опыта, предпочитая литературу архиву.

В середине 1990-х гг. за обсуждениями моего дипломного исследования, посвященного письменной личности Андрея Белого, Владимир Александрович определялся с моделью. Широкий спектр письменных амплуа Белого – от «роя» орнаментальной прозы до математически выверенного «строя» работ по метрике стиха – побуждал нас к экспериментам

с письменным Ид и парадигматической осью персонализации. По зрелом размышлении мой научный руководитель отказался от построения устойчивой, но асинхронной и контекстуально подслеповатой модели письменной личности в терминах психологии и / или языкознания. Динамическая организация письменного «я», намечаемая в его поздних работах, возникает на пересечении политик и технологий письма с практиками рецепции текстов и институтами социального ранжирования их авторов.

Анализ подпольного человека Достоевского, не мыслившего себя без писательства, – самый подробный разбор письменной личности, сделанный Владимиром Александровичем. В подпольном человеке он видит максималиста и неудачника письма, подумывающего о карьере литератора в пореформенную эпоху, когда вчерашние мечтатели и бумагомаратели стремятся быть опубликованными [Шкуратов 2017]. Литературу второй половины XIX в., взятую в качестве социально одобряемого рода занятий, формы жизни и института, Владимир Александрович использует как психокультурную мембрану. Пропуская через нее поведение и сознание современника, он переизобретает, олитературивая, саму способность быть личностью: персональные стадии, пути социализации, отношения, границы нормы и практики самопомощи описаны «в терминах литературно-письменной системы».

В диалоге с подпольным человеком Владимир Александрович не раз дистанцировался от советского официоза и коллективности, утверждал примат письменных форм жизни, характеризовал собственное положение и удел интеллигенции в позднем СССР. В нашем интервью эта работа продолжается, а своеобразие подпольного советского человека – оговаривается. Истоки его маргинальности, нелегитимности, непризнанности и невысказанности, по логике профессора Шкуратова, следует искать в особенностях советского редакционно-издательского цикла – засилии цензуры и использовании ресурса автономизации, имеющегося у письма, для производства социальной, идеологической, онтологической дистанции<sup>1</sup>. Дистанция оказалась столь фундаментальной, что конец режима и переход к рынку не уничтожили подполья письма, а лишь изменили его глубину и качество.

### **Прошлое будущего молчания**

Беседа с Владимиром Александровичем была первой в обойме из семи пилотных ин-

тервью, записанных летом 2009 г. Архивист, отставник, воспитатель интерната, инженер, преподавательница педучилища, радиомонтажник, родившиеся в Советском Союзе в первое послевоенное десятилетие, согласились говорить со мною о молчании и нарушать его. Они делились семейными тайнами и детскими секретиками, намекали на позор коллаборации и отмежевывались от молчаливого большинства, отсылали к «Старательскому вальску» Галича и «молчанию партизана».

Своих собеседников я информировала о том, что, записывая интервью, готовлюсь изучать жизнь в СССР сквозь призму молчания и описывать его советскую специфику. Не приходилось сомневаться в том, что фреймы, технологии, институты, политики, этики молчания зависели от контекста<sup>2</sup>. Но в какой степени особенным был советский случай? И в чем проявлялось его своеобразие? О. Файджес писал о репрессированной семейной памяти о Большом терроре [Figes], М. Эпштейн – о метафизике русской литера-

---

<sup>1</sup> Письменное гражданство подпольного человека хорошо различимо на фоне внутренней эмиграции университетской профессуры в сталинском СССР и эскапизма поколения дворников и сторожей – форм дистанцирования, описанных через этику автономии, отношение к труду, социальную топологию, но не через убежище письма и чтения [Kholmatov; Гордеева].

<sup>2</sup> По-разному молчат финны и японцы в повседневности [Petkova]; хранят молчание в ходе дознания граждане США и Японии [Winston]; проваливаются в травму послевоенной немоты жители Западного Берлина и французские солдаты в колониальной Африке [Golterman; Ginio]; устроен обет схимника и романтический театр молчания эрмита [Corbin].

туры [Эпштейн]. Меня интересовали рутины и частные миры несказанного.

Откликаясь на постструктуралистский призыв к изучению молчания<sup>1</sup>, я вписывала несказанное в повестку исторической психологии<sup>2</sup> и заимствовала методы у социальных антропологов, работающих с гендерными политиками несказанного – беспамятством о женском политическом участии в Бенгалии 1970-х гг. и гендерным напряжением в руководстве публичными школами в США [Roy; Skrila et al.]. Это они начали изучать молчание с помощью разговоров. Реагируя на экзотичный инструментарий, один из участников интервью даже сообщил моему родственнику и своему однокашнику о подозрительном интересе ученых к тому, о чем советским людям полагалось молчать.

Антропологов интересовало фокусное молчание, тогда как мой запрос формулировался предельно широко и в то же время был

рассчитан на готовность участников пересобрать свою жизнь из перспективы несказанного. Результатом первого же интервью стала личная история молчания, как я условно назвала этот формат «я»-нарратива. Строго говоря, в моем исследовательском архиве имеется только одна такая история. Остальные участники охотно вспоминали о своей жизни в СССР, но переключались на типовые ситуации или чужой опыт, как только речь заходила о молчании.

Из разговоров под диктофон я узнала, что оплотом молчания, о котором готовы говорить участники интервью, была семья, а его операторами – мамы с бабушками. При этом приглашение рассказывать об опыте молчания в СССР людьми, не знакомыми друг с другом, слаженно воспринималось как вступление в дискурсивный порядок этики и политики. Они концентрировались на принуждении к молчанию и вынужденном

---

<sup>1</sup> Если в психоанализе и ранних аналитиках дискурса несказанное (вытесненное, принадлежащее условиям производства высказывания) привлекало своим влиянием на порядок сказанного, то в 1990-е гг. оно стало интересно само по себе. В молчании, отделенном от тишины, распознали сгущение дискурсивности (зависимости от контекста, направленности, иллокутивной силы, связи с властью и моральным выбором) [Saville-Troike; Jaworski; Kurzon; Billig], после чего рождение социологии, истории, антропологии молчания стало вопросом времени [Mayar et al.; Brox].

<sup>2</sup> Мне пригодились мейерсоново понимание психической активности, выступающей связующим звеном между магмой психики и гипсами культуры. Фокусируясь на системности, нормативности, конвенциональности и значении акта, Мейерсон заложил основы исторической психологии практик и *работ* [Meyerson 1995; Meyerson 1949]. Интересуясь *работой* советского молчания и изучая дискурсивные практики несказанного в СССР, я иду по его следу.

характере несказанного, опасном приближении к власти и дискомфорте, этическом выборе и бремени. Молчания, которое Михаил Эпштейн называл «тютчевским», надсловесным, положительным, наполненным и религиозно-мистическим [Эпштейн: 203]<sup>1</sup>, в этих историях не было. Все больше говорили о режимах, нормах, тактиках молчания и последствиях его нарушения. Вспоминая, как семья хранила молчание о родственнице, работавшей у немцев переводчицей во время оккупации, один из моих собеседников не договаривал фразы, сбивался, декларировал незнание и не находил слов, когда нужно было объяснять причины, определять позиции и давать оценку. Этот случай научил меня отличать истории о молчании от перформативного производства молчания в дискурсе<sup>2</sup>. А результаты пилотной серии интервью побудили к расширению базы источников для работы с историей советского молчания.

История молчания, которую рассказывает профессор Шкуратов, остается уникальным событием и импровизацией, хотя какие-то

эпизоды я слышала раньше, а какие-то мысли позднее были развиты им на письме. В ходе разговора Владимир Александрович дает понять, что необходимость фокусироваться на несказанном требует от него усилий и вызывает дискомфорт. Из этого дискомфорта вырастает личная история молчания позднесоветского интеллигента, озабоченного производством дистанции по отношению к официальному дискурсу и выполняющего дискурсивную работу дистанцирования.

Рассказывая об опыте молчания, уклонения, ускользания, замалчивания, иносказания, считывания, невысказанности, дис-локации и немоты от первого лица, Владимир Александрович помещает его в переплетение сред и контекстов, доказывая и показывая что молчание в брежневском СССР было полифоническим и дырявым. Он не только говорит о множестве несказанного, но и размечает его, различая молчание лукавого интеллигента и простака, столичного жителя и провинциала, ядро немоты сталинизма и периферию застоя. Не ограничиваясь рефлексией, он концептуализирует

<sup>1</sup> Политическое «молчание Галича», полное умалчиваний и замалчиваний, в паре с мистическим «молчанием Тютчева» описываются Эпштейном как коммуникативные оси и метафизические полюса русской культуры [Эпштейн].

<sup>2</sup> Я разделяю дискурс о молчании и производство молчания в дискурсе, пользуясь разделением нарративной и травматической памяти, сто с лишним лет назад предложенным французским психиатром П. Жане [Janet]. В отличие от Жане, считающегося, кстати, одним из учителей Мейерсона, сбой в интеграции опыта, сопровождающий (деформирующий или полностью блокирующий) артикуляцию молчания, я отношу не столько на счет индивидуального сознания, сколько на счет взаимодействия и локального морального порядка, задающего этические пределы сказанного. В этой трактовке меня укрепляет модель диалогического бессознательного М. Биллига [Billig].

советское молчание и проблематизирует отсутствие у русского интеллектуала подходящего языка для описания несказанного. И здесь литература и литераторы – не только русские, но и советские – поставляют типажи и объяснительные модели для исторического психолога, занимающего метапозицию по отношению к своему историческому случаю.

Пятнадцать лет и целую жизнь спустя после интервью, я осознаю, сколь честным, глубоким и беззащитным был в том разговоре мой учитель. А его суждения о пределах молчания и подполье письма, рисках и неудобствах молчальника, горизонтах коллабораций всех мастей и непереводимости здешнего опыта, обреченного на метафизическую немоту, сегодня выглядят характеристикой момента текущего или даже последующего. Мой собеседник заканчивает свое интервью словами о языке, в котором должен быть шифр для будущего. В языке профессора Шкуратова этот шифр есть.

### **P. S. Часть речи**

Главный герой «Авиатора», предчувствуя скорый уход из жизни, настаивает на том, чтобы к ведению дневника его восстановленных воспоминаний, заполняющих про-

белы в жизни и обещающих непрерывность субъективного присутствия на письме, подключилось ближайшее окружение – доктор Гейгер и жена. Ставя этот эксперимент, Евгений Водолазкин доказывает, что прустовские воспоминания вместе с присущей им субъективностью в ситуации исторической ретерриториализации могут создаваться интерперсонально, обещая субъекту не то вечную жизнь, не то федоровское воскрешение во плоти букв [Водолазкин]<sup>1</sup>.

Обязательства, которые я выполняю, готовя к публикации интервью с моим учителем, значительно скромнее. Доказывая, что устная речь профессора, книжника и создателя литературоцентричной версии исторической психологии Владимира Александровича Шкуратова принадлежит порядку письма, я рассматриваю ее расшифровку и публикацию, выполненную со всем уважением и признанием ценности, в качестве способа расширения и интенсификации присутствия (на письме) того, кто придумал письменную личность и определил себя в этих терминах.

Однако завершить свое предисловие мне хотелось бы обращением не к транскрипту, который открыт для чтения, но к онтологии

---

<sup>1</sup> В декабрьском интервью “Forbs” Водолазкин еще раз высказался о текстуализации как приоритетной форме присутствия человека в нашей памяти. См.: Евгений Водолазкин – о компромиссах, турбулентности времени, парадной истории и запрете писателей // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LTjvk-8eyX4>, 23.12.2023

текста, этими словами оканчивающегося. Проясняя морфологические основания существования, Иосиф Бродский, как известно, утверждал, что «от всего человека вам остается» даже не текст, а «часть речи». Кажется, я знаю, какая часть речи остается от того, кто воплотился в текстах, открытых для интеллектуального диалога. Это – эпистемологический глагол в третьем лице единственного числа настоящего времени: «Профессор Шкуратов считает, утверждает, подчеркивает, приходит к выводу». Дорогой Владимир Александрович, эти диалоги аккумулируют присутствие.

### Литература

Белявский, И.Г., Шкуратов, В.А. Проблемы исторической психологии. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1982.

Бермант, О.В. Письменная ментальность в России 1916–1996 гг. по материалам художественного книгоиздания: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ростов-на-Дону, 1998.

Бертон, Р. Анатомия меланхолии / реф., пер. и коммент. В.А. Шкуратова // Культурология / под ред. Г.В. Драча. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Богин, Г.И. Современная лингводидактика. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1980.

Виноградов, В.В. Избранные труды: о языке художественной прозы. М.: Наука, 1980.

Водолазкин Е. Авиатор. М.: Редакция Елены Шубиной, 2018.

Гордеева, И.А. «Поколение дворников и сторожей»: этики труда и трудоустройства в культурном андеграунде позднего советского времени // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. Т. 10. Вып. 4 (78). Электронный ресурс. URL: <https://history.jes.su/s207987840005147-0-1/>. DOI: 10.18254/S207987840005147-0 (дата обращения: 1.12.2023).

Дубин Б.В. Биография, репутация, анкета (О формах интеграции опыта в письменной культуре) // Дубин, Б. Слово – письмо – литература: очерки по социологии современной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 98–120.

Зарецкий, Ю.П. Моя жизнь для Государства: массовая практика составления делопроизводственных автобиографий советскими людьми // Новое литературное обозрение. 2019. №. 3. С. 107–127.

Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.

Касаткина, А.К. На пути к открытым качественным данным // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. Т. 7. Вып. 7 (51) [Электронный ресурс]. URL: <https://history.jes.su/s207987840001678-4-1/> (дата обращения: 1.12.2023).

Касаткина, А.К. Дачные разговоры как объект этнографического исследования: разработка метода (на материале интервью об освоении садовых участков в 1980-е—1990-е гг.). Автореферат. СПб. 2019.

Мишенев, А.М. Экстаз сопричастности. Челюскинский дневник одной учительницы географии // Вестник Пермского университета. «История». 2022. №. 2 (57). С. 105–114.

Николаенко, Е.В. Психологическая интерпретация феномена жалобы в русской культуре: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ростов-на-Дону, 2008.

Рикер, П. Повествовательная идентичность / пер. О.И. Мачульской // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: московские лекции и интервью. М.: КАМІ, 1995. С. 19–38.

Рис, Н. Русские разговоры: культура и речевая повседневность эпохи перестройки / пер. с англ. Н. Кулаковой, В. Гулиды. М.: Новое литературное обозрение, 2005.

Хайдеггер, М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Время и бытие» (статьи и выступления) / пер. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. С. 238–253.

Шкуратов, В.А. Критический анализ современной зарубежной исторической психологии (школа Й. Мейерсона): дис. ... канд. психол. наук. Ленинград, 1981.

Шкуратов, В.А. Историческая психология. Ростов-на-Дону: Город N, 1994.

Шкуратов, В.А. Историческая психология. М.: Смысл, 1997.

Шкуратов, В. А. Интеллигенция в проекте современности // Логос. 2005. № 6. С. 243–252.

Шкуратов, В.А. Искусство экономной смерти: Сотворение видеомира. Ростов-на-Дону: Наррадигма, 2006.

Шкуратов, В.А. Новая историческая психология. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009.

Шкуратов, В.А. Психология в истории культуры и познания. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2011.

Шкуратов, В.А. А.П. Чехов и Мишель Фуко: российская каторга или западная тюрьма? // Политическая концептология. 2013. № 1. С. 34–42.

Шкуратов, В.А. Историческая психология. Кн. 1: Введение в историческую психологию. М.: Кредо, 2015.

Шкуратов, В.А. Литература как спасение (к сотериологии Ф.М. Достоевского) // Политическая концептология. 2016. № 3. С. 146–169.

Шкуратов, В.А. Время двойников (очерк по истории множественности) // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2017. Т. 2. № 1. С. 92–110.

Эпштейн М. Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. М.: Высшая школа, 2006.

Atkinson, P., Silverman D. (1997). Kundera's immortality: The interview society and the invention of the self. Qualitative inquiry, 3 (3), 304–325.

Bear, L. (2016). Time as technique. Annual Review of Anthropology, 2016, 45, 487–502.

Benjamin, Ludy P. (2006). A History of



psychology in letters. Malden, MA: Blackwell Publisher.

Billig, M. (1999). *Freudian repression: Conversation creating the unconscious*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu (2000). *Biographical illusion*. In P. du Gay, J. Evans & P. Redman. (Eds.), *Identity: A reader*. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 297–303.

Brox, J. (2019). *Silence: A social history of one of the least understood elements of our lives*. New York, Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Bruner, J. (1979). *On Knowing: Essays for the left hand*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University.

Bruner, J. (1987). *Life as Narrative*. *Social research*, 54 (1), 11–32.

Bruner, J. (2005). *Ignace Meyerson and cultural psychology*. In Ch. Emeling & D. Johnson. *The mind as a scientific object: Between brain and culture*. Oxford: Oxford University Press, 402–412.

Corbin, A. (2018). *A History of silence: From the renaissance to the present day*. Cambridge: Polity Press.

Corden, A., Sainsbury, R. (2006). *Using verbatim quotations in reporting qualitative social research: researchers' views*. York: University of York.

Corti, L., & Backhouse, G. (2005). *Acquiring qualitative data for secondary analysis*. *Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research*, 6 (2). <https://doi.org/10.17169/fqs-6.2.459>

Danziger, K. (1994). *Constructing the*

*subject: Historical origins of psychological research*. Cambridge: Cambridge University Press.

Danziger, K. (1997). *Naming the mind: How psychology found its language*. London; Thousand Oaks; New Delhi.: SAGE.

Denzin, N. (1995). *The experiential text and the limits of visual understanding*. *Educational Theory*, 45 (1), 7–18.

Figes, O. (2007). *The Whisperers: Private life in Stalin's Russia*. New York: Metropolitan Books.

Gergen, K. (1973). *Social psychology as history*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 26 (2), 309–320.

Gergen, K. & M. Gergen, (1986). *Narrative form and the construction of psychological science*. In T. Sarbin (Ed.), *Narrative psychology: The storied nature of human conduct*. London: Bloomsbury Publishing, 22–45.

Gergen, K. & M. Gergen, (1988). *Narrative and the self as relationship*. *Advances in Experimental Social Psychology*, 21, 17–56.

Gergen, K. & M. Gergen, (2014). *Historical social psychology*. Hove, East Essex: Psychology Press.

Genio, R. (2010). *African Silences: Negotiating the story of France's colonial soldiers, 1914–2009*. In E. Ben-Zé'ev, R. Genio, & J. Winter (Eds.), *Shadows of war: A social history of silence in the twentieth century*. Cambridge: Cambridge University Press, 138–152.

Goltermann, S. (2010). On silence, madness, and lassitude: Negotiating the past in post-war West Germany. E. Ben-Ze'ev, R. Ginio, & J. Winter (Eds.), *Shadows of war: A social history of silence in the twentieth century*. Cambridge: Cambridge University Press, 91–112.

Goodwin, Ch. (1994). Professional vision. *American Anthropologist*, 96 (3), 606–633.

Harré, R. (1979). *Social Being: A theory for social psychology*. Oxford: Basil Blackwell.

Harré, R. (1987). *The singular self: An introduction to the psychology of personhood*. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Harris, R. (1986). *The Origin of Writing*. London: Duckworth.

Heaton, J. (2008). Secondary analysis of qualitative data In J. Brannen, L. Bickman, & J. Alasuutari (Eds.), *The SAGE Handbook of Social Research Methods*, London: SAGE, 506–519.

Janet, P. (1989). *L'Automatisme psychologique: Essai de psychologie experimentale sur les formes inferieures de l'activite humaine*. Paris: Felix Alcan.

Jaworski, A. (1992). *The power of silence: Social and pragmatic perspectives*. London: SAGE.

Jaynes, J. (1976). *Origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind*. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.

Kasatkina, A., Vasilyeva, Z. & R. Khandozhko (2018). Thrown into collaboration. In A. Adolfo Estalella, T. Criado (Eds.), *Experimental collaborations: Ethnography through fieldwork devices*. New York: Berghahn Books, 132–153.

Kendrick, K. (2017). Using conversation analysis in the lab. *Research on Language and Social Interaction*, 50 (1), 1–11.

Kholmatov, T. (2022). Am suffocating and starving without interior life: Stepan Veselovskiy's ethical principles while in inner emigration. *Quaestio Rossica*. 10 (2), 697–708.

Kurzon, D. (1998). *Discourse of silence*. Amsterdam: John Benjamins.

Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogue. *Qualitative Inquiry*, 12 (3), 480–500.

Langeiller, K. (2001). Personal narrative. In M. Jolly (ed.), *Encyclopedia of life writing: Autobiographical and biographical forms*. Vol. 2, 699–701, London: Fitzroy Dearborn.

Lapadat, J., Lindsay, A. (1999). Transcription in research and practice: From standardization of technique to interpretive positionings. *Qualitative Inquiry*, 5 (1), 64–86.

Latour, B. (1983). Give me a laboratory and I will raise the world. In K. Knorr-Cetina, M. Mulkay (Eds.), *Science observed: Perspectives on the social study of science*. London: SAGE, 141–170.

Latour, B., Woolgar, S. (2013). *Laboratory life: The construction of scientific facts*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Long, N. (2015). For a verbatim ethnography. In A. Flynn, & J. Tinius (Eds.), *Anthropology, theatre, and development: the transformative potential of performance*. London: Palgrave Macmillan, 305–333.

Mayar, M., Schulte, M. (Eds.) (2022). *Silence and its derivatives: Conversations across disciplines*. Cham: Springer International Publishing.

McLuhan, M. (1954). Joyce, Mallarmé, and the Press. *The Sewanee Review*, 62 (1), 38–55.

Meyerson, I. (1949). Comportement, travail, expérience, oeuvre. *L'Année Psychologique*, 50 (1), 77–82.

Meyerson, I. (1995). *Les fonctions psychologiques et les oeuvres*. Paris: Albin Michel.

Minichiello, V., Aroni, R. & Hays T. (2008). *In-depth interviewing: Principles, techniques, analysis*. Melbourne: Pearson Education Australia.

Murray, K. (1989). The Construction of identity in the narratives of romance and comedy. In K. Gergen & J. Shotter. *Texts of identity*. London, Newbury Park, Calif.: SAGE, 176–205.

Nicholson, Ian A.M. (2003). *Inventing personality: Gordon Allport and the science of selfhood*. Washington, DC: American Psychological Association.

Ochs, E. (1979). Transcription as theory. *Developmental of Contemporary Ethnography*, 25 (3), 327–352.

Ong, Walter J. (1986). Writing is a technology that transforms thought. In G. Baumann (ed.), *The written word: Literacy in transition*. Oxford: Clarendon Press, 23–50.

Ong, Walter J. (1999). Orality, Literacy, and Modern Media. In D. Crowley & P. Heyer (Eds.),

*Communication in history: technology, culture, society*. New York: Longman, 60–67.

Ong, Walter J. (2013). *Orality and Literacy*. London & New York: Routledge.

Parot, F. (2000). Psychology in the human sciences in France, 1920–1940: Ignace Meyerson's historical psychology. *History of Psychology*, 3 (2), 104–121.

Parot, F. (Ed.). (1996). *Pour une psychologie historique. Écrits en hommage à Ignace Meyerson*. Paris: Presses Universitaires de France.

Petkova, D. (2015). Beyond silence: A cross-cultural comparison between Finnish “quietude” and Japanese “tranquility.” *Eastern Academic Journal*, 4, 1–14.

Pizarroso, N. (2013). Mind's historicity: Its hidden history. *History of Psychology*, 16 (1), 72–90.

Plesh, C. (2020). Recovering a French tradition: Ignace Meyerson in focus. *Culture & Psychology*, 26 (3), 578–589.

Psathas, G., Anderson, T. (1990). The “practices” of transcription in conversation analysis. *Semiotica*, 78 (1–2), 75–99.

Roy, M. (2006). Speaking silence: Narrative of gender in the historiography of the Naxalbari movement in West Bengal (1967–75). *Journal of South Asian Development*, 1 (2), 207–230.

Sarbin, T. (1986). *Narrative psychology: The storied nature of human conduct*. London: Bloomsbury Publishing.

Saville-Troike M., Tannen D. (ed.). (1985). *Perspectives on silence*. Norwood, NJ: Ablex.

Skrla L., Reyes P., Scheurich J. (2000). Sexism, silence, and solutions: Women superintendents speak up and speak out. *Educational Administration Quarterly*, 36 (1), 44–75.

West, C. (1996). Ethnography and orthography: A (modest) methodological proposal. *Journal of contemporary ethnography*, 25 (3), 327–352.

Westwick, P. (2000). Secret science: A classified community in the national laboratories. *Minerva*, 3 (4), 363–391.

Winston, K. (2003). On the ethics of exporting ethics: The right to silence in Japan and the US. *Criminal Justice Ethics*, 22 (1), 3–20.

Young, K. (2012). *Taleworlds and storyrealms: The phenomenology of narrative*. Springer: Science & Business Media.

### References

Atkinson, P., Silverman D. (1997). Kundera's Immortality: The interview society and the invention of the self. *Qualitative inquiry*, 3 (3), 304–325.

Bear, L. (2016). Time as technique. *Annual Review of Anthropology*, 45, 487–502.

Belyavskij, I.G., Shkuratov, V.A. (1982). *Problemy istoricheskoy psihologii* [Problems of historical psychology]. Rostov-on-Don: Rostovskii universitet Publ.

Benjamin, Ludy P. (2006). *A History of Psychology in Letters*. Malden, MA: Blackwell Publisher.

Bermant, O.V. (1998). *Pis'mennaya mental'nost' v Rossii 1916–1996 gg. po materialam*

*hudozhestvennogo knigozdaniya* [Written mentality in Russia in 1916–1996 according to fiction book publishing]. Abstract of Habil. Th. Rostov-on-Don.

Billig, M. (1999) *Freudian repression: Conversation creating the unconscious*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bogin, G.I. (1980). *Sovremennaya lingvodidaktika* [Contemporary linguistical didactics]. Kalinin: Kalinin State University Publ.

Bourdieu (2000). Biographical illusion. In P. du Gay, J. Evans & P. Redman. (Eds.), *Identity: A reader*. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 297–303.

Brox, J. (2019). *Silence: A social history of one of the least understood elements of our lives*. New York, Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Bruner, J. (1979). *On Knowing: Essays for the left hand*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University.

Bruner, J. (1987). Life as narrative. *Social research*, 54 (1), 11–32.

Bruner, J. (2005). Ignace Meyerson and Cultural Psychology. In Ch. Emeling & D. Johnson (Eds.), *The mind as a scientific object: Between brain and culture*. Oxford: Oxford University Press, 402–412.

Burton, R. (1998). *Anatomiya melanholii* [Anatomy of Melancholy] (V. Shkuratov, Trans., ref., comment.). In G.V. Drach (ed.), *Kul'turologiya* [Culture study]. Rostov-on-Don: Feniks.

Corbin, A. (2018). *A history of silence: From the renaissance to the present day*. Cambridge: Polity Press.

Corden, A., Sainsbury, R. (2006). *Using verbatim quotations in reporting qualitative social research: researchers' views*. York: University of York.

Corti, L., & Backhouse, G. (2005). Acquiring Qualitative Data for Secondary Analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research*, 6 (2). <https://doi.org/10.17169/fqs-6.2.459>

Danziger, K. (1994). *Constructing the subject: Historical origins of psychological research*. Cambridge: Cambridge University Press.

Danziger, K. (1997). *Naming the Mind: How psychology found its language*. London; Thousand Oaks; New Delhi.: SAGE.

Denzin, N. (1995). The experiential text and the limits of visual understanding. *Educational Theory*, 45 (1), 7–18.

Dubin, B.V. (2001). Biografiya, reputaciya, anketa (O formah integracii opyta v pis'mennoj kul'ture) [Biography, reputation, profile (On forms of integration of experience in written culture)]. In B.V. Dubin. *Slovo – pis'mo – literatura: ocherki po sociologii sovremennoj kul'tury* [Word – writing – literature: Essays on the sociology of contemporary culture]. Moscow: Novoe Literaturnoe obozrenie, 98–120.

Epshtejn M. N. (2006). Slovo i molchanie: Metafizika ruskoj literatury [Word and silence: Metaphysics of Russian literature]. Moscow: Vysshaya shkola.

Figes, O. (2007). *The whisperers: private life in Stalin's Russia*. New York: Metropolitan Books.

Gergen, K. & M. Gergen, (1988). Narrative and the self as relationship. *Advances in Experimental Social Psychology*, 21, 17–56.

Gergen, K. (1973). Social psychology as history. *Journal of Personality and Social Psychology*, 26 (2), 309–320.

Gergen, K.& M. Gergen, (1986). Narrative form and the construction of psychological science. In T. Sarbin (Ed.). *Narrative psychology: The storied nature of human conduct*. London: Bloomsbury Publishing, 22–45.

Gergen, K.& M. Gergen, (2014). *Historical social psychology*. Hove, East Essex: Psychology Press.

Ginio, R. (2010). African Silences: Negotiating the story of France's colonial soldiers, 1914–2009. In E. Ben-Ze'ev, R. Ginio, & J. Winter (Eds.), *Shadows of war: A social history of silence in the twentieth century*. Cambridge: Cambridge University Press, 138–152.

Goltermann, S. (2010). On silence, madness, and lassitude: Negotiating the past in post-war West Germany. In E. Ben-Ze'ev, R. Ginio, & J. Winter (Eds.), *Shadows of war: A social history of silence in the twentieth century*. Cambridge: Cambridge University Press, 91–112.

Goodwin, Ch. (1994). Professional vision. *American Anthropologist*, 96 (3), 606–633.

Gordeeva, I.A. (2019). “Pokolenie dvornikov i storozhej”: etiki truda i trudoustrojstva v kul'turnom andegraunde pozdnego sovetskogo vremeni [The “Generation of janitors and watchmen”: Work and employment ethics

in the cultural underground of the late Soviet era]. *ISTORIYA* [HISTORY], 10 (4). Retrieved from: <https://history.jes.su/s207987840005147-0-1/> (date of access: 1.12.2023). DOI: 10.18254/S207987840005147-0

Harré, R. (1979). *Social being: A Theory for social psychology*. Oxford: Basil Blackwell.

Harré, R. (1987). *The singular self: An introduction to the psychology of personhood*. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Harris, R. (1986). *The Origin of Writing*. London: Duckworth.

Heaton, J. (2008). Secondary analysis of qualitative data In J. Brannen, L. Bickman, & J. Alasuutari (Eds.). *The SAGE Handbook of Social Research Methods*, London: SAGE, 506–519.

Heidegger, M. (1993). *Nauka i osmyslenie* [Science and meaning]. In M. Heidegger M. *Vremya i bytie (stat'i i vystupleniya)* [Time and being: Articles and speeches] (V. Bibihin, Trans). Moscow: Respublika, 238–253.

Janet, P. (1989). *L'Automatisme psychologique: Essai de psychologie experimentale sur les formes inferieures de l'activite humaine*. Paris: Felix Alcan.

Jaworski, A. (1992). *The power of silence: Social and pragmatic perspectives*. London: SAGE.

Jaynes, J. (1976). *Origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind*. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.

Karaulov, Yu.N. (1987). *Russkij yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian and language personality]. Moscow: Nauka.

Kasatkina, A., Vasilyeva, Z. & R. Khandozhko (2018). Thrown into collaboration. In A. Adolfo Estalella, T. Criado (Eds.). *Experimental collaborations: Ethnography through fieldwork devices*. New York: Berghahn Books, 132–153.

Kasatkina, A.K. (2016). Na puti k otkrytym kachestvennym dannym [Towards open quality data]. *ISTORIYA*, 7, 7 (51). Retrieved from: <https://history.jes.su/s207987840001678-4-1/> (date of access: 1.12.2024).

Kasatkina, A.K. (2019). *Dachnye razgovory kak ob'ekt etnograficheskogo issledovaniya: razrabotka metoda (na materiale interv'yu ob osvoenii sadovyh uchastkov v 1980-e–1990-e gg.)* [Dacha conversations as an object of ethnographic research: development of a method (based on interviews about the development of garden in the 1980s–1990s.]. Abstract of PhD Thesis. Saint-Petersburg.

Kendrick, K. (2017). Using conversation analysis in the lab. *Research on Language and Social Interaction*, 50 (1), 1–11.

Kholmatov, T. (2022). Am Suffocating and starving without interior life: Stepan Veselovskiy's ethical principles while in inner emigration. *Quaestio Rossica*. 10 (2), 697–708.

Kurzon, D. (1998). *Discourse of silence*. Amsterdam: John Benjamins.

Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogue. *Qualitative Inquiry*, 12 (3), 480–500.

Langeiller, K. (2001). Personal narrative. In M. Jolly (ed.), *Encyclopedia of life writing*:

*Autobiographical and biographical forms*. Vol. 2, 699–701, London: Fitzroy Dearborn.

Lapadat, J., Lindsay, A. (1999). Transcription in research and practice: From standardization of technique to interpretive positionings. *Qualitative Inquiry*, 5 (1), 64–86.

Latour, B. (1983). Give me a laboratory and I will raise the world. In K. Knorr-Cetina, M. Mulkay (Eds.). *Science observed: Perspectives on the social study of science*. London: SAGE, 141–170.

Latour, B., Woolgar, S. (2013). *Laboratory life: The construction of scientific facts*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Long, N. (2015). For a verbatim ethnography. In A. Flynn, & J. Tinius (Eds.). *Anthropology, theatre, and development: the transformative potential of performance*. London: Palgrave Macmillan, 305–333.

Mayar, M., Schulte, M. (Eds.) (2022). *Silence and its derivatives: Conversations across disciplines*. Cham: Springer International Publishing.

McLuhan, M. (1954). Joyce, Mallarmé, and the Press. *The Sewanee Review*, 62 (1), 38–55.

Meyerson, I. (1949). Comportement, travail, expérience, oeuvre. *L'Année Psychologique*, 50 (1), 77–82.

Meyerson, I. (1995). *Les Fonctions psychologiques et les œuvres*. Paris: Albin Michel.

Minichiello, V., Aroni, R. & Hays T. (2008). *In-depth interviewing: Principles, techniques, analysis*. Melbourne: Pearson Education Australia.

Mishenev, A.M. (2022). Ekstaz soprichastnosti. Chelyuskinskij dnevnik odnoj uchitel'nicy geografii [The ecstasy of belonging.

Chelyuskinist diary of a geography teacher]. *Vestnik Permskogo universiteta. Istorija* [Bulletin of Perm University. History], 2 (57), 105–114.

Murray, K. (1989). The Construction of identity in the narratives of romance and comedy. In K. Gergen & J. Shotter. *Texts of identity*. London, Newbury Park, Calif.: SAGE, 176–205.

Nicholson, Ian A.M. (2003). *Inventing personality: Gordon Allport and the science of selfhood*. Washington, DC: American Psychological Association.

Nikolaenko, E.V. (2008). *Psichologicheskaya interpretaciya fenomena zhaloby v russoj kul'ture* [Psychological interpretation of the phenomenon of complaint in Russian culture]. Abstract of PhD Thesis. Rostov-on-Don.

Ochs, E. (1979). Transcription as theory. *Developmental of Contemporary Ethnography*, 25 (3), 327–352.

Ong, Walter J. (1986). Writing is a technology that transforms thought. In G. Baumann (ed.), *The written word: Literacy in transition*. Oxford: Clarendon Press, 23–50.

Ong, Walter J. (1999). Orality, literacy, and modern media. In D. Crowley & P. Heyer (Eds.), *Communication in history: technology, culture, society*. New York: Longman, 60–67.

Ong, Walter J. (2013). *Orality and literacy*. London & New York: Routledge.

Parot, F. (2000). Psychology in the human sciences in France, 1920–1940: Ignace Meyerson's historical psychology. *History of Psychology*, 3 (2), 104–121.

Parot, F. (Ed.). (1996). *Pour une psychologie historique. Écrits en hommage à Ignace Meyerson* [For a historical psychology. Writings in tribute to Ignace Meyerson]. Paris: Presses Universitaires de France.

Petkova, D. (2015). Beyond silence: A cross-cultural comparison between Finnish “quietude” and Japanese “tranquility.” *Eastern Academic Journal*, 4, 1–14.

Pizarroso, N. (2013). Mind’s historicity: Its hidden history. *History of Psychology*. 16 (1), 72–90.

Pleh, C. (2020). Recovering a French tradition: Ignace Meyerson in focus. *Culture & Psychology*, 26 (3), 578–589.

Psathas, G., Anderson, T. (1990). The “Practices” of transcription in conversation analysis. *Semiotica*. 78 (1–2), 75–99.

Ricœur, P. (1998). *Povestvovatel'naya identichnost'* [Narrative Identity] (I. Mochul'skaya, Trans.). Ricœur, P. *Germenevtika. Etika. Politika: moskovskie lekcii i interv'y u* [Germeneutics. Ethics. Politics: Moscow lessons and interviews]. Moscow: KAMI, 1–38.

Ris, N. (2005). *Russkie razgovory: kul'tura i rechevaya povsednevnost' epohi perestrojki* [Russian talk: Culture and conversation during perestroika] (N. Kulakova, V. Gulida, Trans.). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Roy, M. S. (2006). Speaking silence: Narrative of gender in the historiography of the Naxalbari movement in West Bengal (1967–75). *Journal of South Asian Development*. 1 (2), 207–230.

Sarbin, T. (1986). *Narrative psychology: The stor-*

*ied nature of human conduct*. London: Bloomsbury Publishing.

Saville-Troike M., Tannen D. (ed.). (1985). *Perspectives on silence*. Norwood, NJ: Ablex.

Shkuratov V. A. (2016). *Literatura kak spasenie (k soteriologii F.M. Dostoevskogo)* [Literature as salvation (towards the soteriology of F.M. Dostoevsky)]. *Politicheskaya konceptologiya* [Political Conceptology], 3, 146–169.

Shkuratov, V. A. (2005). *Intelligenciya v proekte sovremennosti* [Intelligentsia in the project of modernity]. *Logos*, 6, 243–252.

Shkuratov, V. A. (2017). *Vremya dvojnikov (ocherk po istorii mnozhestvennosti)* [The Time of doubles (an essay on the history of plurality)]. *Praktiki i interpretacii: Zhurnal philologicheskikh, obrazovatelnykh i kulturnykh issledovanii* [Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies], 2 (1), 92–110.

Shkuratov, V.A. (1981). *Kriticheskij analiz sovremennoj zarubezhnoj istoricheskoy psihologii (shkola J. Mejerzona)* [Critical analysis of modern foreign historical psychology (school of Zh. Meyerson)]. *Habil. Th. Leningrad*.

Shkuratov, V.A. (1994). *Istoricheskaya psihologiya* [Historical psychology]. Rostov-on-Donu: Gorod N.

Shkuratov, V.A. (1997). *Istoricheskaya psihologiya* [Historical psychology]. Moscow: Smysl.

Shkuratov, V.A. (2006). *Iskusstvo ekonomnoj smerti: Sotvorenje videomira*. [The art of frugal death: Creating a video-world]. Rostov-on-Don: Narradigma.



Shkuratov, V.A. (2009). *Novaya istoricheskaya psihologiya* [New historical psychology]. Rostov-on-Donu: South Federal University Publ.

Shkuratov, V.A. (2011). *Psihologiya v istorii kul'tury i poznaniya* [Psychology in the history of culture and cognition]. Rostov-on-Donu: South Federal University Publ.

Shkuratov, V.A. (2013). A.P. Chekhov i Mishel' Fuko: rossijskaya katorga ili zapadnaya tyur'ma? [Chekhov and Michel Foucault: Russian penal servitude or Western prison?]. *Politicheskaya konceptologiya* [Political Conceptology], 1, 34–42.

Shkuratov, V.A. (2015). *Istoricheskaya psihologiya* [Historical psychology], Book 1: *Vvedenie v istoricheskuyu psihologiyu* [Introduction to historical psychology], Vol. 1. Moscow: Kreda.

Skrla L., Reyes P., Scheurich J. (2000). Sexism, silence, and solutions: Women superintendents speak up and speak out. *Educational Administration Quarterly*, 36 (1), 44–75.

Vinogradov, V.V. (1980). *Izbrannye trudy: O yazyke hudozhestvennoj prozy* [Selected works.

About the language of fiction]. Moscow: Nauka.

Vodolazkin, E. (2018). *Aviator* [Aviator]. Moscow: Elena Shubina' Editorial staff.

West, C. (1996). Ethnography and orthography: A (modest) methodological proposal. *Journal of contemporary ethnography*, 25 (3), 327–352.

Westwick, P. (2000). Secret science: A classified community in the national laboratories. *Minerva*, 3 (4), 363–391.

Winston, K. (2003). On the ethics of exporting ethics: The right to silence in Japan and the US. *Criminal Justice Ethics*, 22 (1), 3–20.

Young, K. (2012). *Taleworlds and storyrealms: The phenomenology of narrative*. Springer: Science & Business Media.

Zaretzkij, Yu.P. (2019). *Moya zhizn' dlya Gosudarstva: massovaya praktika sostavleniya deloproizvodstvennyh avtobiografij sovetskimi lyud'mi* [My life for the State: the widespread practice of compiling paperwork autobiographies by Soviet people]. *Novoe Literaturnoe Obozrenie* [New Literary Observer], 3, 107–127.

---

**Для цитирования:** Орлова, Г.А. Транскрибирование, или Расширение письменного «я». К расшифровке разговора с Владимиром Александровичем Шкуратовым // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2023. Т. 8. № 4. С. 7–40. DOI: 10.18522/2415-8852-2023-4-7-40

**For citation:** Orlova, G.A. (2023). Transcription, or extension of the written self: Towards the translation the conversation with Vladimir Aleksandrovich Shkuratov. *Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies*, 8 (4), 7–40. DOI: 10.18522/2415-8852-2023-4-7-40

**TRANSCRIPTION OR EXTENSION OF THE WRITTEN SELF:  
TOWARDS THE TRANSLATION THE CONVERSATION  
WITH VLADIMIR ALEKSANDROVICH SHKURATOV**

Galina A. Orlova, PhD in Psychology, Associated Professor, School of History, National Research University “Higher School of Economics” (Moscow, Russia); e-mail: gaorlova@hse.ru

**A**bstract. The article is an epistemological paratext to the transcript of an archival interview, which was recorded in the summer of 2009 at the pilot stage of a research dedicated to the history of silence in the USSR. The self-narrative of silence is produced from the position of the late Soviet intellectual, who is distancing himself from both the official life and discourse. The interlocutor was the architect of historical psychology and the creator of its literary version, Rostov professor Vladimir Aleksandrovich Shkuratov (1947–2022). The interviewer prepares a full-text transcript of the conversation to publication in memory of her prof and guru, providing, with the help of the preface, a layered setup for reading the interview.

The text explains the specifics of the complex genre of interviews, raises the question of its ethnographic saturation and connection with the academic practices of the existence of V.A. Shkuratov. A brief excursion into his intellectual heritage is made, and a French trace in the design of Rostov historical psychology is discovered. The status of the interview and its transcript is determined in relation to historical psychology in the editions of V.A. Shkuratov and I. Meyerson. Particular attention is paid to the views of V.A. Shkuratov on the role of written culture, given through literature, in the invention of modern man and maintaining his psychological integrity. The understanding of written personality proposed by V.A. Shkuratov is considered through the case of the underground man in his connection with the writing. The belonging of the professor’s oral speech to the order of writing is described. And the translation of his oral speech into writing, considered as a strengthening of the presence and extension of the written “self” is placed in the context of both written culture and personality, the conceptualization of which V.A. Shkuratov worked.

**Key words:** literary historical psychology, narradigm, written personality, underground man, presence, history of silence, silent self-narrative, transcription, in-depth interview, memory, gratitude

